# Дальняя родственница

***Поэма

Есть родственницы дальние —
почти
для нас несуществующие, что ли,
но вдруг нагрянут,
словно призрак боли,
которым мы безбольность предпочли.
Я как-то был на званом выпивоне,
а поточней сказать —
на выбивоне
болезнетворных мыслей из голов
под нежное внушенье:
«Будь здоров!»
В гостях был некий лондонский продюсер,
по мнению общественному, —
Дуся,
который шпилек в душу не вонзал,
а родственно и чавкал и «врезал».
И вдруг — звонок…
Едва очки просунув,
в дверях застряло — нечто —
всё из сумок
в руках, и на горбу, и на груди —
под родственное:
«Что ж стоишь, входи!»
У гостьи —
у очкастенькой старушки
с плеча свисали на бечёвке сушки,
наверно,
не вошедшие никак
ни в сумку,
ни в брезентовый рюкзак.
Исторгли сумки,
рухнув,
мёрзлый звон.
«Мне б до утра,
а сумки — на балкон».
Ворча:
«Ох, наша сумчатая Русь…» —
хозяйка с неохотой дверь прикрыла.
«Знакомьтесь,
моя тётя —
Марь Кириллна.
Или, как я привыкла, —
тёть Марусь».
Хозяйке было чуть не по себе.
Она шепнула,
локоть мой сжимая:
«Да не родная тётка,
а седьмая,
как говорят,
вода на киселе».
Шёл разговор в глобальных облаках
о феллинизмах
и о копполизмах,
а тёть Марусь вошла
тиха, как призрак,
в своих крестьянских вежливых носках.
С косичками серебряным узлом
присела чинно,
не касаясь рюмки,
и сумками оттянутые руки
украдкой растирала под столом.
Глядела с любопытством,
а не вчуже,
и вовсе не старушечье —
девчушье
синело из-под треснувших очков
с лукавым простодушьем васильков.
Её в старуху
сумки превратили —
колдуньи на клеёнке,
дерматине,
как будто в современной сказке злой,
но — сумки с плеч,
и старость всю — долой.
Продюсера за лацканы беря,
мосфильмовец уже гудел могуче:
«Что ваш Феллини
или Бертолуччи?
Отчаянье сплошное…
Где борьба?»
Заёрзал переводчик,
засопел:
«Отчаянье — ну как оно на инглиш?»
А гостья вдруг подвинулась поближе
и подсказала шёпотом:
«Despair!..»
Компания была потрясена
при этом неожиданном открытье,
как будто вся Советская страна
заговорила разом на санскрите.
«Ну и вода пошла на киселе…» —
подумал я,
а гостья пояснила:
«Английский я преподаю в Орле.
Переводила Юджина О’Нила…»
«Вот вы из сердца,
так сказать,
Руси, —
мосфильмовец взрычал, —
вам, для примера,
какая польза с этого «диспера»?»
Хозяйка прервала:
«Ты закуси…»
Но, соблюдая сдержанную честь,
сказала гостья,
брови сдвинув строже:
«Ну что же,
я отчаивалась тоже.
А вот учу…
Надеюсь, польза есть…»
«Вы что-то к нам так редко,
тёть Марусь…» —
хозяйка исправляться стала лихо,
а гостья усмехнулась:
«Я — трусиха…
Приду,
а на звонок нажать боюсь».
У гостя что-то на пол пролилось,
но переводчик был благоразумен,
и нежно объяснил он:
«This old woman
from famous city of risak’s orlov’s» \*.
«Вас, очевидно, память подвела… —
вздохнула гостья сдержанно и здраво. —
Названье это —
от конюшен графа
Орлова…
не от города Орла…»
Хозяйка гостю подала пирог свой,
сияя:
«This is russian pirojok!» \*\* —
и взгляд несостоявшейся Перовской
из-под бровей старушки всех прожёг,
как будто бы на высший свет московский
взглянул народовольческий кружок.
И разночинцы в молодых бородках
и с васильками на косоворотках
сурово встали за её спиной
безмолвно вопрошающей виной.
Старушка стала девочкой-подростком,
как будто изнутри её вот-вот,
страницы сжав,
закапанные воском,
Некрасова курсисточка прочтёт.
О, господи,
а в очереди сумрачной
сумел бы я узнать среди ругни
в старушке этой,
неповинно сумчатой,
учительницу —
мать всея Руси?
Пусть примут все архангелы в святые,
трубя над нами в судных облаках,
тебя,
интеллигенция России,
с трагическими сумками в руках.
Мне каждая авоська руки жжёт.
Провинций нет.
Рассыпан бог по лицам.
Есть личности,
подобные столицам.
Провинция —
всё то, что жрёт и лжёт.
И будто бы в крыле моём дробинка,
ты жжёшь меня, российская глубинка,
и, впившись в мои перья глубоко,
не дашь взлететь
преступно высоко…
…Я выбежал на улицу.
Я был
растерян перед бьющим в душу снегом,
как будто перед воющим набегом
каких-то непонятных белых сил.
Пурга рвала пространство всё на лоскуты
и усмехалось небо свысока,
и никакого не было орловского,
чтобы на нём уехать,
рысака.
Как погляжу
старушке той в глаза
я —
разночинец атомного века?
Вместит
какая в мире дискотека
всех призраков России голоса?
И я шептал в смертельном одичании:
«Отчаялся и я —
всё занесло,
но, может, лучше честное отчаянье,
чем лженадежды —
трусов ремесло?
Я сбит с копыт,
и всё в глазах качается,
и друга нет,
и не найти отца.
Имею право наконец отчаяться,
имею право
не надеяться?»
Но что-то васильковое синело,
когда я шёл
и сквозь пургу хрипел
забытым дальним родственником неба:
«Despair. —
И снег выплевывал:
Despair…»
Я с неба,
непроглядного такого
не слышал слова божьего мужского,
а женское живое слово божье:
«Ну что же,
я отчаивалась тоже…»
И вдруг пронзило раз и навсегда:
отчаянье —
не главная беда.
Есть вещи поотчаяньей отчаянья —
душа,
что неспособна на оттаянье,
и значит, не душа,
а просто склад
всех лженадежд,
в которых только яд.
Все милые улыбочки надеты
на лженадежды,
прячущие суть.
Отчаянье —
застенчивость надежды,
когда она боится обмануть
надеющихся,
что когда-нибудь…

Так вот какие были пироги
испечены
старушкой той непростенькой,
когда она забытой дальней родственницей
внезапно появилась из пурги.
Как страшно,
если, призрачно устроясь,
привыкли мы считать навеселе
забытой дальней родственницей —
совесть,
и честь —
седьмой водой на киселе.
Как страшно, если ночью засугробленной,
от нас непоправимо далека,
забытой дальней родственницей Родина
дотронуться боится до звонка…
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* «Из знаменитого города орловских рысаков» (англ.).
\*\* «Это русский пирожок» (англ.).***